В. А. МАКЛАКОВЪ

ТОЛСТОЙ и БОЛЬШЕВИЗМЪ

РѣЧЬ



ПАРИЖЪ

1921



В. А. МАКЛАКОВЪ.

ТОЛСТОЙ " БОЛЬШЕВИЗМЪ

Ръчь.



ПАРИЖЪ 1921.

Толстой и большевизмъ*)

Я остановился на темѣ «Толстой и большевизмъ» не по ея злоболневности, еще изъ-за медкаго жеданія воспользоваться стымъ для партійной полемики. Вечеръ посвящень Тодстому, чествованію его памяти; объ ней буду и я говорить; но на эту память преднолагаемое отношение Толстого къ большевизму легло какою-то тенью. Мы имели случай въ этомъ убъдиться. Когда 2 мъсяца тому назадъ возникла мысль устроить въ намять Толстого международное чествованіе, среди иностранцевъ и даже среди насъ самихъ эта мысль встръчала недоумънный вопросъ: — развъ своевременно это теперь, въ разгаръ большевизма, моральная отвътственность за который лежить на Толстомъ? И какую отвътственность имъль въ виду этотъ вопросъ? Противники чествованія не ограничивались хо-

^{*)} Рѣчь, произнесенная на вечерѣ въ память Льва Николаевича Толстого 5-го января 1921 г. въ Salle Gaveau.

дячимъ утвержденіемъ, будто большевизмъ и Толстой-явленія сродныя, ибо одинаково вытекають изъ глубинъ русскаго характера. Съ такимъ тезисомъ, конечно, можно поспорить; можно усомниться, есть-ли большевизмъ дъйствительно порожденіе русскаго духа. Но это быль бы хотя и интересный, но все-таки чисто академическій споръ. Такое сродство — если бы оно и было — ничего не доказывало бы. И Платонъ Караваевъ и Федоръ Карамазовъ безспорно русскіе типы, но кто-же будеть возлагать на одного отвътственность за другого? Отвътственность Толстого за большевизмъ понималась выводилась не изъ національнаго характера объихъ доктринъ, а изъ ихъ внутренней близости. И нъкоторые удивительные факты давали, казалось, основание къ этому выводу. Ни для кого не тайна — почеть, которымь большевики окружають память Толстого. Правда, они держать въ тюрьм'я его дочь, но платили пенсію его вдов'я, сохранили его имъніе, назвали его именемъ какую-то улицу, а въ годовщину его смерти устраивають всенародное поминаніе, о чемъ на весь міръ пов'єщають. Но что еще удивительнье, тв. которыхъ мы въ общежитіи называли «толстовцами», его последователи и друзья, оказались не въ станъ враговъ и безпощадныхъ обличителей

большевизма; они вмѣстѣ съ главарями большевиковъ издають въ Россіи его сочиненія, а нъкоторые уже за-границей, то-есть на полной свободъ, передъ лицомъ всего міра не постъснились сказать, что въ большевизмѣ есть черты, которыя были бы дороги Толстому, что въ столкновеніи большевиковъ съ міромъ Толстой былъ бы ихъ сторонъ. Этихъ фактовъ достаточно, чтобы оправдать мою тему сегодня. Разъ они налицо, то вопросъ объ истинномъ отношеніи Толстого къ большевикамъ, изъ самаго уваженія къ его памяти, надо поставить, а не обходить стыдливымъ молчаніемъ. Конечно, это не только интересная, но обширная тема. Отношеніе Толстого къ большевикамъ было бы совсѣмъ непохоже на наше. Онъ бы сказалъ намъ, людямъ міра, къ какимъ бы оттенкамъ политической мысли мы ни принадлежали, что не намо осуждать большевиковъ; что большевизмъ есть утрированное, безсовъстное, но и логическое послъдствіе тъхъ ученій и взглядовъ, которыхъ держимся мы; что хотя большевизмъ появился сравнительно поздно, но въ зародышт онъ былъ весь на-лицо съ того самаго времени, міръ покинуль завъты Христа и пошель той дорогой, которой мы всё продолжаемъ идти. Большевизмъ наше дътище, заслуженная нами Немезида; въ большевизмѣ мы, слѣдующіе ученію міра, должны познать сами себя... Воть что сказаль бы Толстой; у меня нѣть времепи, чтобы развить эту мысль и даже чтобы заступиться за міръ; эту интересную тему я оставлю въ сторенѣ. Но такое отношеніе Толстого къ ученію міра и къ отвѣтственности міра за большевизмъ, ничего не измѣнить въ основномъ фактѣ, а именно, что въ большевизмѣ соединилось все, что быле наиболѣе ненавистно Толстому; и что потому говорить о какомъ бы то ни было сходствѣ между ученіемъ Толстого и большевиковъ значить ничего не понимать въ этомъ ученіи.

И во-первыхъ.

Въ отношеніи къ большевизму между Толстымъ и нами, людьми міра, есть одна глубокая разница; страстность нашихъ нападокъ направлена не на идеаля большевизма, а на практическое его проявленіе; безповоротно отрицательное отношеніе Толстого обращено къ самому идеалу. Конечный идеалъ большевизма—коммунистическое государство — имъеть мало общаго съ тъмъ, что сейчасъ творится въ Россіи. Но что люди міра могли бы возразить противъсамого идеала коммунистовь, противъ государства, въ которомъ не было бы классовъ, гдё всю принудительно работали бы не другъ на друга,

а на все государство, гдв не было бы собственниковъ, ибо вся собственность принадлежала бы государству? Что будеть представлять изъ себя такое государство? Оно покажется какъ бы одной громадной фабрикой, гдв каждый обяванъ трудиться на общую пользу тамъ и такъ, какъ ему прикажуть, но гдв за то каждый и получаеть оть государства все, что ему нужно; это государство издаеть въ этомъ направленіи законы, судить и караеть за ихъ нарушение, силой приводить ихъ въ исполнение; въ немъ сохранятся всв обычные аттрибуты государства: судъ, полиція, войско; будетъ поддерживаться витшпій порядокъ, будуть чиновники, весь административный аппарать, предупреждающій беззаконія и своеволія; только вся эта машина будеть направлена къ новой цёли, къ тому, чтобы всв отдавали всю свою жизнь, весь свой трудъ государству, несли равную обязанность работать не для себя, не для своего благополучія, не во имя своихъ интересовъ, а на пользу государства; личность при этихъ условіяхъ всеивло поглощается государствомъ, но за то въ немь не будеть привиллегированных и обиженныхъ, слабыхъ и сильныхъ. Таковъ коммунистическій идеаль; что мы, люди міра, могли бы сказать противъ подобнаго строя?

Одни изъ насъ скажуть, что это утопія, что такое государство противно человъческой природь. и потому невозможно. Другіе признають, что оно имъ не нравится, что государство превратится въ фабрику, которая не идеалъ общежитія, что иниціатива личности въ немъ будеть уничтожена, что это, говоря словами Спенсера, — «грядущее рабство». Но эти возраженія не убъдительны; и современный капиталистическій строй имфеть свои недостатки и конечно многимъ имфетъ право не правиться; а что касается до противоръчій законамъ природы, то это такъ условно; подобная ссылка етолько разъ уже явлалась и столько разъ оказывалась несостоятельной! Но, во всякомъ случать, эти возраженія не принципіальны; не соглашаясь съ возможностью и даже желательностью подобнаго строя, намъ, людямъ міра, не за что его ненавидъть. И это понятно. Мы всв. люди самыхъ различныхъ политическихъ взглядовъ, говоримъ съ коммунистами на томъ же языкъ, исходимъ изъ одной точки эрънія — мы всв государственники. Мы не мыслимъ личности вив общежитія, общежитія вив государства, а государства безъ права на принуждение. Для насъ всего выше принципъ общаго блага, этотъ основной принципъ всякаго общежитія; долгъ

государства, по нашему мнѣнію, служить этому принципу. Какъ бы ни были различны формы государствепнаго устройства, его сущность остается одной: и въ коммунистическомъ государствъ остаются поэтому тъ же основные пріемы управленія, тъ же органы и институты какъ и въ демократической республикъ и въ аристократической монархіи. При всемъ ихъ различіи между собой они явленія одной категоріи и потому, хотя мы можемъ предпочитать одно другому, мы можемъ все-таки ихъ и понять и, если нужно, принять.

Совсёмъ иное дёло Толстой. Я не поддамся соблазну излагать его ученіе, соблазну показать, что какъ пи далеко это ученіе отъ того, чему мы всё вёримъ, оно не такъ нелогично, какъ это думаютъ люди, отдёлывающіеся отъ него двумя-тремя возраженіями. Я не войду въ детали вопроса, но сущность воззрёній Толстого общеизвёстна. Слова Христа — «не противься злу насиліемъ» для него не метафора, не преувеличеніе, не парадоксъ, а истина простая и исполнимая. Толстой отрицаеть всякое насиле, во имя чего оно бы ни дёлалось и къмъ бы ни дёлалось. Для него государство имёетъ не болёе правъ на насиліе, чёмъ кто бы то ни было; поэтому Толстой отрицаеть самую сущность госу-

дарства, все назначение котораго въ правъ насилія, направленнаго къ общему благу; онъ отрицаеть самую государственную идею, вст государственные институты, самые почтенные и необходимые, войско, полицію, судъ. Онъ отвергъ бы и коммунистическое государство по твмъ же самымъ причинамъ, по которымъ отвергалъ всякое другое. Въ коммунизмъ для него нътъ ничего, что могло бы прельстить его больше, чтмъ другія системы; съ его точки зрівнія между ними всёми нётъ разницы въ самой основе. Всё онъ построены на одномъ началь; на въръ въ спасительность насилія, а не завътовъ Христа; построены не на законъ любви, а на законъ принудительной справедливости; въ коммунизмѣ нъть ничего, чтобы съ этой стороны выгодно бы отличало его оть другихъ. Напротивъ того; коммунистическое государство въ той самой мѣрћ, въ которой оно наиболъе полно осуществляло-бы принципъ равенства и справедливости, показалось бы для Толстого наиболее опаснымь ученіемъ. Въ одномъ изъ последнихъ сочиненій (Христово ученіе) Толстой ставить вопросъ, почему міръ не пошель за ученіемъ Христа? Отвъть на это онъ нашель, между прочимъ, въ ученіи о соблазнахъ: «Соблазнъ, — говорить онъ, есть ловушка, въ которую заманивается чело-

выкь подобіемь добра, и, понавь вы нее, погибаеть въ ней». Однимъ изъ такихъ соблазновъ является соблазнь государства; «онь состоить въ томъ, что люди оправдываются въ совершении ими гръковъ благомъ многихъ дюдей, народа или человъчества». Насиліе есть зло по самой природъ; но оно особенно опасно, когда замаскировано, и «оправдывается подобіем» добра», какъ будто ведетъ къ благу. Долгъ христіанина разоблачать это зло, возставать противъ подобнаго его •правданія. Потому-то Толстой въ своемъ отношеніи къ проявленіямъ государственной жизни обличаль особенно страстно тв ея стороны, гдв зло наиболье прикровенно; судебная дыятельность, напримъръ, которая для людей міра преднаиболъе почетной и безспорной ставляется изъ всёхъ государственныхъ проявленій, по этому самому вызывала съ его стороны наиболже безпощадное осуждение. Точно также при суждепін о различных в государственных формахь, Тсястой быль-бы всего строже къ той, гдв нежащее въ основъ всякаго государства насиліе было-бы наиболье прикрыто илиогіей общаго блага, соблазномъ справедливости. Въ этомъ отров торжество идеи насилія надъ христіанской любовью было бы наиболье скрыте, а потому д нанболье опасно. Коммунистическое государство.

по мнѣнію Толстого, могло бы въ глазахъ міра явиться оправданіемъ зла, оправданіемъ самой государственной идеи, апологіей насилія и принужденія. То, что насъ, людей этого міра, наиболье привлекало бы въ этой доктринь, Толстого оть нея наиболье бы оттолкнуло. Толстой и мы всв стоимъ по разнымъ сторонамъ баррикады, но мы стоимъ по одну сторону не съ Толстымъ, а съ большевиками. Толстой такъ далекъ насъ всёхъ, что съ высоты его міровозэрёнія разница между нами почти незамътна. Въ этомъ сущность Толстого, какъ мірового явленія, его историческая позиція. Если на это скажуть, что такіе взгляды и подобная проповедь Толстого могли быть вредны, что они не проясняли политическаго сознанія Россіи, внушали русскому обществу вредный политическій индифферентизмъ, съяли смуту въ умахъ, — я спорить не буду; я не выдаю Толстого за политическаго мыслителя и теоретика; Толстой моралисть по существу и чистый анархисть въ государственномъ смысль. Его вліяніе въ этомъ отношеніи могло быть вреднымъ, особепно для твхъ, кто его не понималь. Все это такъ, но не въ этомъ вопросъ. Но въ виду такихъ его взглядовъ, можемъ-ли ым думать, что Толстой могь быть чёмъ-нибудь прельщенъ въ коммунистическомъ идеалѣ, чтобы за стремление ко нему онъ могь бы что бы то ни было простить или забыть большеви-камъ? Самъ коммунистическій идеалъ былъ для него чуждъ и нежелателенъ. Онъ гораздо дальше отъ этого идеала, чѣмъ всѣ мы, противники большевиковъ, слѣдующіе ученію міра. Что же могло бы примирить Толстого со зломъ, которов дѣлается во имя этого идеала?

Но отношение Толстого къ коммунистическому идеалу имъеть интересъ только академичес-. кій. Такого государства вообще еще не существуеть въ природъ. Но за то уже четвертый годъ въ Россіи длится то, что носить названіе большевизма. Большевики сами не стануть утверждать, чтобы порядокъ, который сейчасъ ими установлень въ Россіи, быль нормальнымъ порядкомъ; для него у нихъ другія объясненія; ьто только революціонный періодъ, переходное время, у котораго свой особый историческій смыслъ. Задача его сломить господство собственниковъ, буржуазіи, разломать буржуазный строй до основанія, хотя бы ціной уничтоженія целаго класса. «Надо, по ихъ мненію, сначала сдълать это, а потомъ уже строить новое зданіе па совершенно новыхъ началахъ. Это — хирургическая операція, которая, какъ всякая операція, носить временный характерь и о которой

забывають съ достижениемъ цели. Периодъ нопобной ломки всегда жестокъ, стоитъ много крови и слезь. Онъ насышенъ несправедливостыю, но это ступень къ другой, высшей справединвости. Это -- муки рожденія новаго строя. Сами большевики оплакивають эти насилія, но они творять эло во имя лучшаго будущаго». Такъ говорять большевики; я не хочу полемизировать съ ними, не буду разсматривать, искренни-ли эти слова. Но нельзя не признать, что подобная ностановка вопроса для насъ, людей міра, вполив допустима. Мы, противники большевиковъ, какъ и они сами, признаемъ, что бывають эпохи, когда насиле необходимо, когда жестокостью и кровью ведуть къ лучшему будущему. Кто изъ нась съ самыхъ противоположныхъ полюсовъ будеть отрицать это въ принципъ?Возьмите консервативныя партіи. Развів въ минуту обостренія «революціонныхъ движеній» онв не признавали, что необходимы противъ революціонеровъ исключительные законы, особенныя репрессивныя міры, что нормальныя міры, которыми защищается общежитіе, въ такія минуты недостаточны? Развѣ не говорили онѣ, какъ Столышинъ, когда имъ указывали на случайность, жестокость, несправедливость репрессій, что «когда горить демъ, быють стекла», развъ не это пониманіе

облекалось въ знаменитую фразу: «сначала успокоеніе, а потомъ реформы»? Развѣ полевые суды, жандармскій терроръ, военныя положенія. отмена гражданскихъ правъ и судебныхъ гарантій противь революціонеровь не допускались и не допускаются принципіально идеологіей правыхъ возорвній? И не лівымь теченіямь упрекать ихъ за эту идеологію. Развѣ они сами тиtatis mutandis смотрять иначе на этоть вопросъ? И для насъ право возстанія противъ власти, т. е. тоже насиліе, являлось въ нъкоторыхъ случаяхъ не только правомъ, но государственнымь долгомъ. Развѣ мы не идеализировали революцій и чужихъ, и своихъ? Не оправдывали убійствъ, насилій и беззаконій въ тъхъ случаяхъ, когда эти насилія вели къ прогрессу, им'вли цівль для насъ симпатичную? Возьмемъ самую отталкивающую форму насилія — террористическій акть, то есть убійство безоружнаго, часто убійство исподтишка. Развѣ мы его не оправдывали во имя его цълей и результатовъ? Развъ Шарлотта Кордэ для насъ не была героиней, мы не апплодировали убійствамъ Сипягина и Плеве, и первая либеральная Государственная Дума не отказалась осудить хотя бы морально революціоннаго террора? И зам'ятьте, что во мн'я вовсе не говорить человъкъ, который покаялся,

перемениль кожу и цветь. Я остался темь, чемь быль, и принципіально признаю и право на насиліе и иногда необходимость насилія. Если я признаю за госудирством право насплія, а безъ этого нётъ государства, и безъ государства я не мыслю возможности общежитія, то я по необходимости долженъ признать и право на революцію; когда правительство расходится съ интересами и правами народа, пародъ ниветь право, своей собственной силой бороться противъ силы правительства. Революція для меня то же, что и война; я хотель бы, чтобы на свътъ не было ни войнъ, ин революцій. Но какъ въ иныхъ случаяхъ война неотвратима, пбо уклоненіе отъ нея означало бы нелостойное полчинение чужой воль, такъ можетъ быть необходима и та внутренняя война, которая именуется революціей. Признавая право на Революцію, ны признаемъ и всю ея формы; и гражданскую войну, и возстаніе и даже террористическій акть. Выборь ихъ опредвляется обстоятельствами, принципомъ наименьшаго зла, роковой необходимостью. Такъ мы разсуждали и поступали, и были правы, или по крайней мъръ были послюдовательны. Но при этихъ условіяхъ, какая же между нами и большевиками принципіальная разница въ постановки вопроса? Старый

режимъ въ свое время идеей общаго блага опрапротивъ революціонеровъ; насилія оправдываютъ большевики твиъ же лія противъ контро-революціонорово. А мы,прогрессисты, оправдывали раньше насилія противъ правительства, а теперь противъ большевиковъ. Если это такъ, то въ сущности мы противь большевистского насплія не потому, что это насиліе, а только потому, что оно по нашему мижнію дирно направлено: сами того не замычая, мы слёдуемъ готтентотскому правилу:«дурко, если лошадь украли у меня; хорошо, если ее украль я». Потому въ нашемъ споръ съ большевиками о насиліи нътъ принципіальной основы. Люди одного верованія, сторонники государства, а потому и революціи, — ибо кто привнаетъ государство непременно признаетъ и революцію, мы споримъ съ ними о фактв, о деталяхь, а не о принципп. И когда большевизмъ надеть, его совершенно последовательно замьинть бёлый терроръ со всёми тёми явленіями, которыя мы сейчаст въ другихъ осуждаемъ. Это уже и бывало при нашихъ частичныхъ успъхахъ.

Совсѣмъ иное Толстой. У него исходная точка другая. Между нами всѣми и имъ идейная пропасть. Мы всѣ разными словами выражаемъ

одну и ту же мысль, которую когда-то высказаль Кајаффа, отдавая на судъ Христа: «лучие одному человъку погибнуть, чъмъ всему міру», Кајаффа выразиль общее міровое воззрвніе. сущность ученія міра; эта мысль не разъ повторялась и раньше, и послѣ него. Историки литературы отметили, что та же мысль теми же словами была выражена Демосоеномъ задолго до Кајаффы и что ее повторилъ Мирабо своей рѣчи sur la banqueroute. Въ этомъ основномъ тезисъ все учение міра и оправданіе государства. Мы всь такъ думаемъ, если этого и не говоримъ; а если такъ и не думаемъ, то всв такъ поступаемъ. Но Толстой этого бы не сказалъ и не подумалъ; его міровоззрѣніе опредъляется словами Ивана Карамазова въ его знаменитомъ разговоръ съ братомъ: «если для снаеенія всего человѣчества надо было бы убить ребенка, убиль ли бы ты его», — спрашиваеть Иванъ Карамазовъ. Для Толстого въ этомъ вопросв не было бы ни трагедіи, ни вопроса: «нъть, конечно, не убиль бы». Не признавая за государствомъ права насилія, онъ не признаваль его ни за къмъ. Какъ бы ни заманивала его идея общаго блага, идея общей пользы, онъ ре допустиль бы, чтобы это благо могло оправдать какое-либо насиліе, чтобы эло вело къ блаry. Насиліе для него абсолютное зло, никогда не допустимое. Fais се que dois, advienne que pourra — любилъ новторять Толстой.

И онъ оставался последователень; ему были бы ненавистны насилія большевиковъ и самые мотивы, которыми они себя бы оправдывали. Но ему было также ненавистно и то насиліе, которому мы когда-то радовались и которое мы въ свое время оправдывали. Всякая революція, дълаемая изъ самыхъ лучшихъ побужденій, вызывала въ немъ одно отрицаніе; я помню его отношеніе къ революціи 1905 г., къ той революціи, которая была и наиболье безкровной, и наиболве безспорной; опъ говорилъ о ней съ осужденіемъ. Я помню его въ лень убійства Сипягина: кругомъ него радовались, думая, что это убійство можеть быть переломомъ, переходомъ къ лучшей политикъ, онъ же огорчался и не столько оттого, что убили Синягина, сколько оттого, что этимъ могли восхищаться. Насиліе, которое для него всегда было эломъ, становилось особенненавистно, когда имъ преслѣдовали кія ціли, которыя сами по себів были симпатични ему, какъ всякое освобождение, когда это насилие защищали тв люди, къ которымъ онъ хорошо относился. Революція 1905 г. отталкивала его не потому, чтобы онь боялся за существующий

строй, который она разрушала; строемъ онъ совствиъ не дорожилъ. Но она была для него ненавистите, чъмъ то правительственное насиліе, съ которымъ боролась, именно потому, что революціонное насиліе направлялось не противъ людей, ему близкихъ, а ими самими, и во имя качаль, которыя были ему симпатичны; мы его окружавшіе мирились съ насиліемъ потому, что оно направлялось въ симпатичную сторону, а Толстой именно отъ этого огорчался.

Воть почему, если бы онъ дожилъ до большевизма, онъ обрушился бы на него всей сплой своего убъжденія; но нашего возмущенія противъ нихъ онъ бы не раздѣлилъ, и сказалъ бы, что именно мы отвѣтственны за большевистскіе ужасы, что сейчасъ повернуто противъ насъ наше собственное міровоззртніс. И если мы, люди міра, или по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ насъ думаютъ, что онъ повиненъ за насилія большевизма, то онъ то же самое сказалъ бы про насъ и въ этомъ его утвержленіи было бы больше правды и логики, чѣмъ въ томъ, что мы говоримъ про него.

Но если Толстой осудиль бы и идеаль большевизма, и идеологію революціи, то что сказаль бы онь про то, что сейчась творится во имя этото идеала и подь защитой этой идеологіи? Если

Толстой мало интересовался порядками, онъ интересовался личностью; онъ не быль государственникъ, но за то былъ моралистъ. Душа человъка для него важнъе цълаго міра и его благонолучія. Самые общественные порядки, профессіи и положенія онъ оціниваль врвнія того вліянія, которое они имвють на человъка, на его внутренній міръ. Въ каждомъ «звъръ» опъ старался найти человъка. Онъ вм'вств съ Христемъ певгорялъ, что н'втъ прошенія тому, кто соблазнить единаго изъ малыхъ, кто развиваетъ въ человъкъ дурные инстинкты. А съ этой точки зрвнія что Россіи даль большевизмь? Лаже ихъ обыкновенная. приспособленная къ условіямъ мирнаго времени, теорія классовой борьбы была ему несимпатична; носитель завътовъ Христа, не знающихъ ни Эллина, ни Іудея, ни раба, ни свободнаго, онъ не могъ признать классовую борьбу мотивомъ человъческой дъятельности. Но въ расцвъть большевизма борьба съ сильнымъ классомъ смънилась его истребленіемъ, уничтоженіемъ слабаго и безоружнаго; вражда выродилась въ злобу и ненависть. Вотъ чувства, которыя не только вышли наружу, но сверху старались вызвать и культивировать. Какъ же это могло отразиться на народной ду-

шв? Въ статьв: «Не могу молчать» Толстой возмущался развратомъ, который внесли въ народную душу казни и ремесло палача. Онъ не могъ простить русской власти, что она развращаеть людей, соблазняеть выгодой ремесла палача и заставляеть народъ мириться съ этимъ ніемъ. А в'ядь въ то время было не болье нъсколькихъ соть казней въ годъ; ихъ совершали ночью. тайкомъ, какъ делаютъ необходимое, но постыддело, при всеобщемъ неодобрительномъ молчаніи, а иногда и громогласномъ осужденіи, безъ попытки эти казни весхвалять и идеаливировать. Какъ же отражаются на народной душъ эти казни теперь, когда онъ совершаются не отдёльными добровольцами, а цёлой толиой, у всвять на виду, какъ праздникъ, подъ кровожадныя рукоплесканія прессы, когда наъ казней дёлають зрёлище, ходять на нихъ смотрёть какъ въ театръ? У сколькихъ это разбудило звъря въ душъ, сколько внесло соблазна и разврата! И развращены этимъ не только сами убійцы добровольные и подневольные; разврать отразился на техъ, кто это видить, и долженъ молчать. Я не брошу камня въ техъ, кто остался въ Россіи, чтобы они тамъ ни делали. Я отрицаю за нами, за эмиграціей, которая живеть въ безопасности, а иногда и въ довольствъ, право осу-

ждать техъ, кто остался въ Россіи. Не мы у нихъ, а они у насъ потребують отчета. Но факть остается фактомъ — такія явленія безнаказанно не проходять. Люди, которые все видять и знають и принуждены молчать и терпъть, одни сломленные страхомъ за себя и за близкихъ, другіе измученные голодомъ и лишеніями, люди, которые принуждены, затаивъ злобу и скорбь, присутствовать при томъ, что насильники делаютъ съ ихъ же народомъ, — эти люди однимъ этимъ молчаніемъ деморализуются нравственно, теряють въ себъ уважение, становятся соучастниками. И когда подумаешь, что они не только «молчали», но доходили до того, что говорили съ убійцами, пожимали имъ руку, а въ тёхъ случаяхъ, когда у убійцъ пробуждалось некоторое человъческое отношение, ихъ благодарили и чествовали! Какое моральное паденіе нужно перенести, чтобы среди этихъ звърствъ тирановъ Россіи спектаклями, устраивать банкеты Луначарскому, превозносить его доброжелательное и заботливое отношение къ ученому міру! Что было нужно перенести, чтобы дойти до подобнаго униженія! Какъ нужно было очерстветь сердцемъ и совестью, чтобы это стерпъть! Въдь что теперь творится въ Россіи? Мы возмущались прежде смертными казнями, но въ

то время въ нихъ было предварительно все таки подобіе суда, хотя и пристрастнаго, онъ были возмездіемъ за преступленія, хотя бы и не всегда тяжкія. Теперь же это поставлено иначе. Смертная казнь вовсе не жестокое наказаніе за мелкое преступленіе, это просто пріємъ управленія, способъ разрѣшенія соціальной и политической проблемы: слёлать возможнымь тоть новый строй, который большевики хотять ввести, и для этого истребить цалый общественный классъ, совершенно его обезсилить. Въ уровень подобной задачи поставлены средства. спуститься въ глубину въковъ, когда истребляли, поголовно истребляли побъжденные народы, раскрыть «Книгу Царствъ», чтобы въ ней найти прецеденты. Возьмите, напримъръ, институть заложниковъ. Прежде, когда случалось убивали арестованныхъ и заключенныхъ, хоть изъ приличія притворялись, что ими была сдёлана попытка бъжать. Теперь этого лицемърія больше нъть, его больше не нужно; вещи можно назысобственнымъ именемъ; безъ стъсненія объявляется всенародно, что будуть убивать невинныхъ, отлично зная, что это-невинные, будуть убивать ихъ за то, что сделають не они, а другіе. И люди, которые объявляють это и двлають, эти люди не только ходять на свободь,

но новелѣвають другими, съ ними переписываются представители культурныхъ государствъ н правительствъ, ихъ при некоторыхъ условіяхъ готовы признать властью. Ихъ у себя дома чествують за услуги просвъщенія и превозносять какъ героевъ новаго слова. Какой осадокъ останется въ народной душь, которая переживаеть это унижение. Цълое покольние развращается и морально погибаеть. Спасенія можно жлаль только отъ будущихъ поколеній... А между темъ какое поколъніе подростаеть? Что въ немъ воспитывають не только коммунистической жизнью, примъромъ другихъ, лой, но всею примъромъ родителей и старшихъ. Добровольческая Армія подходила къ Харькову, она встрътила такую картину: надъ умирающимъ офицеромъ, глумились выковыривали ему глаза, мучили его RЪ моменть агоніи. На возмущенные укоры діти отвътили съ недоумъніемъ: «да въдь это буржуй». Воть во что большевики превратили дътей! И въдь эта злоба не останется безъ реакцін; она скажется въ то время, когда падеть большевизмъ. Когда же настанеть, если не то царство любви, о которомъ мечталъ Толстой, те хотя бы тотъ внъшній миръ, который существоваль до большевизма? Намь придется еще пе-

режить ужасную полосу возмездія за то, что теперь переносять, нолосу такой же крови и безчеловъчности, къ которой мы третій годъ привыкаемъ. Эти уроки не проходять даромъ народу, какъ бы ни быль онъ кротокъ, и Россія будеть завтра не тъмъ, чъмъ была до сихъ поръ. Но злоба и безчеловъчность не единственный ивътокъ, выростающій на народной нивѣ большевизмъ. Есть и другое чувство, которое теперь культивируется, это какъ ни странно - корысть. Къ чему ведеть лозунгь, который брошенъ большевиками — «грабь награбленное»? Слово «награбленное» не главное; это краснорфије, мотивировка, оправданје вся суть его въ одномъ словь: «грабь», - отнимай, бери себъ чужое добро. Къ чему можеть такая доктрина? Прежній имущій привести классъ — меньшинство — пропадаеть; одни съ честью и достоинствомъ, а другіе безъ всякаго достоинства, но постепенно люди этого класса гибнуть; но на ихъ мъсть выростаеть новый собственникъ; онъ носитъ въ себъ всъ черты nouveau rich'a, человъка, на котораго богатство обрушилось сразу, который къ нему не привыкъ и теряеть равновъсіе оть этой удачи. И такимъ становится не ничтожное меньшинство, а то большинство народа, которое даеть тонъ

государству. Вся народная психологія перерождается. Какъ бы отнесся Толстой къ подобному перерожденію? Во «Власти тьмы» онъ противопоставиль гибель Никиты, прикоснувшагося къ даровымъ деньгамъ, личности и жизни Акима, который олицетворяеть трудолюбіе, безкорыстіе, христіанское пониманіе вещей и который поэтому съ отвращениемъ, какъ о грехе, риль о банковскихь операціяхь. Гдв сохранится въ Россіи милый Толстому типъ Коротаевыхъ или Акимовъ? Въ моментъ общей погони за наживой, за чужими богатствами этоть пропадаеть безь следа; на его придуть иные люди, современные удачники. Признаки такого процесса уже наблюдаются. Появился новый типъ «мъщечника»; съ точки зрвнія интересовъ населенія они благодвтели; только благодаря имъ долгое время могли существовать наши столицы; но что они съ точки зрѣнія морали и общественной психологіи? Мѣшечники работають не изъ-за идеи, не изъ-за состраданія къ тъмъ, кто умираеть съ голоду въ городь; это не филантропы, приносящіе заключенному калачикъ въ тюрьму; мѣшечникъ — откровенный спекулянть, который наживается на чужой бёдё, на чужомъ несчастьй, который рискуеть жизнью, чтобы заработать фантастиче-

скую прибыль. И за этой прибылью бросплась такая масса людей, что они ночти один кормили втолицы. А что творится въ самой крестьянской массь? Не Акимы дають ей теперь направление: въ крестьянствъ пробудились другіе инстинкты. Лаже за деньги они не посылають хлюба въ говода. Не дають его темъ, кто съ голоду гибнеть; требують за него платы, и не денегь, которыя дешевы, а хотя бы ненужныхъ имъ предметовъ комфорта и роскоши; люди вымирають на ихъ глазахъ, и они остаются равнодушны къ этой бый, и даже этимъ пользуются: ихъ время пришло. Конечно, есть псилюченія, різдкія, но трогательныя исключенія, такія, за которыя когда то можно было простить Содомъ и Гоморру; во это все-таки исключенія. Масса же крестьянства, которая опредвляеть національный обликъ народа, бросилась за наживой; один гибнуть, — а они на этой гибели благоденствують и наживаются. И на этой массв появились уже саныя отталкивающія черты буржуазнаго типа; въ соціалистической полемической интературъ мы не разъ читали нападки на буржуазную псижологію и нравы; какъ представители ея бездушной идеологіи, чтобы сократить производство и тъмъ увеличить свои барыши, увольняють рабочихь; какь для того, чтобы поднять

ивны на рынкв, они придерживають товары до момента наибольшаго спроса, прячуть ихъ, чтобы взвинтить ихъ цвну впоследствіи. Эти факты до сихъ поръ выставлялись, какъ образчикъ того, до чего можеть пасть человъкъ подъ вліяніемь денегь; но все это приписывалось капиталистамь, буржуямь, богатому и счастливому меньшинству; этому противуноставляли кре-**СТЬЯ**НСТВО трудолюбивый пролетаріать, но-И сителей идеи національной солидарности. Ho что происходить теперь? Крестьяне не пашутъ нолей, чтобы урожай не достался другимъ; крестьяне прячуть зерно, которое гність въ подвалахъ и ямахъ, чтебы оно не пошло темъ, у кого хльба пьть; крестьяне ненавидять рабочихь потому, что имъ приходится работать на нихъ. Конечно; съ точки зрвнія міра, развитіе такой психологін нормально и правильно; пожалуй, въ немъ даже спасеніе. Відь мы считали, что одна изъ причинъ неудачъ нашей революціи заключалась именно въ томъ, что въ Россіи было мало буржуазіи; что у нашей буржуазіи не было достаточно ясно выраженной классовой псижологіи, что она не умъла себя защищать, бороться за власть, что она рукоплескала революціоннымь теченіямь, рубила тоть сукь, на которомъ сиджиа. Наша русская буржуазія, съ нашей

точки зр'внія, не сум'вла отстоять своего благонолучія, а потому не отстояла и государства; мы, люди міра, смотримъ безъ всякаго ужаса, а напротивъ, съ надеждой на то, какъ перерождается наше крестьянство и въ этомъ видимъ залогъ оздоровленія. Разбогатвиніе крестьяне, эти новые буржуи, не повторять ошибокъ буржуазной интеллигенціи, которая обнаруживала, словами Маркова 2-го, «слюнявую гуманность». Когда само крестьянство стапеть буржуазнымъ по характеру и пріемамъ, оно многому научится, научится дорожить порядкомъ, поддерживать власть, пойметь необходимость полиціи, не какъ когда-то прогрессивные интеллигенты, мечтать о свободь, о любви къ низшему брату, о равенствъ. Изъ большевистской школы выйдеть новая Россія, въ которой научатся не только проживать, но и наживать состоянія, отучатся отъ безплодныхъ мечтаній какъ жить по-Божьи, отъ праздныхъ разговоровъ на общія темы, отъ идеализаціи ныхъ низовъ, босяковъ, народолюбія, оть мечтаній о высшей справедливости и альтруизмъ. Европа будеть насъ понимать и пенить. деть, какъ теперь, смъяться надъ нашей безпомощностью и неумблостью, признаеть въ насъ практическій смысль, способность къ государственному управленію. Тогда будеть крѣпкая, эгоистическая, буржуазная Россія, не та Россія простыхъ, смиренныхъ, но и неумѣлыхъ людей, которую Толстой такъ любилъ и цѣнилъ. Мы, люди міра, будемъ этому радоваться, ибо это будеть прогрессъ, шагъ впередъ къ тому государственному идеалу, который мы носимъ въ себѣ; будетъ богатая, культурная, хотя и жестокая Россія; но когда мы будемъ радоваться, Толстой будетъ скорбѣть; опъ не простить большевикамъ этого прогресса, не простить имъ того, во что они и ихъ господство превратили Россію.

Еще одна черта въ большевизмѣ, оцѣнка которой у Толстого не была бы похожа на нашу. Мы, люди міра, любимъ историческихъ героевъ и деятелей; это тоже съ нашей стороны своего рода культь силы. Какъ ни отвратительна намъ дъятельность Ленина и большевиковъ, у ижкоторыхъ изъ насъ вырывается невольное восхищение передъ исключительной ролью, которую они сыграли въ Россіи. «Со времени Петра Великаго не было никого, кто бы такъ отпечатлълъ на Россіи черты своей собственной личности», говорить авторъ одной изъ лучшихъ характеристикъ главы большевизма. И обаяніе этой силы вліяеть на нашу оцінку.

ваставляеть насъ прощать имъ то, что мы непростили бы другимъ. Это — сверхъ-человъки, тъ, которымъ «все позволено», какъ думаль Раскольниковъ. У Толстого было бы совсемъ пругое отношение къ этому. Онъ вообще не любиль историческихъ героевъ, громкихъ именъ; его герои и любимны скромные и незамътные люди. Великіе люди, — говориль онь, — это только этикетки, которыя исторія пришпиливаеть потомъ на событія, ведомыя совствиь иной, недоступной намъ силой, которую один зовуть провидениемъ, **другіе** — случаемъ. Въ своей философіи истои финоменной въ примъчаніяхъ въ «Войнъ и Миру», онъ не разъ отрицаль значение личности на ходъ событій. Отсюда вытекло у него развънчаніе въ «Войнъ и Мирь» Наполеона, одного изъ тьхъ титановъ, который, но выражению Хомякова, быль «помазанникомъ собственной силы»; моральное чувство Толстого оскорбляла претензія управлять другими, навязывать имъ свою волю. Въ «Войнѣ и Мярѣ» онъ Наполеопу противопоставилъ смиреннаго Кутузова: симпатіи Голстого на сторон' посл'ядняго. Но его Кутузовъ, чтобы привлечь симпатіи Толстого, вышель у него не только своесбразной, но и исторически непохожей на подлиниикъ фигурой; посмотрите разницу между Кутузовымъ въ

«Войнъ и Миръ» и Кутузовымь Пушкина. У Пушкина это «исполинъ», «идолъ северныхъ дружинъ», это «старецъ грозный»; у Толстого это «дъдушка», по выраженію Малаши. И если Толстой не могь простить великому Наполеону его претензіи управлять и властвовать, несмотря на заслуги его нередъ Франціей, если онъ съ непріязнью относился къ Великому Петру, ко всвыь, кто претендоваль на господство и власть, то какь бы посмотрёль онь на тёхь людей, которые изъ чужбины пріёхали въ Россію въ моменть, когла утомленная войной она искала выхода и спасенія, воспользовались ея бідой, чтобы захватить въ свои руки власть, а потомъ кровью и желвоомъ, казнями и пытками стали насиліемъ тнать Россію туда, куда хочется не Россіи, а имъ, и только потому, что имъ туда хочется. Какъ бы отнесся онь къ тъмъ, которые развратили и разворили Россію потому, что дерзостно требовали, чтобы въ Россіи быль непременно тоть порядокъ, котораго они захотвли!

Но довольно. Этихъ примъровъ достаточно. Но ихъ можно было бы очень умножить. Врагъ государства по принципу, Толстой ревниво отстанвалъ противъ него все то, что онъ, говоря языкомъ государственниковъ, считалъ «неотъемлемымъ правомъ человъческой личности»,

т. е. различные виды свободы. Въ его любопытномъ намфлетъ «Царю и его помощникамъ» высказалось во всей полноть это убъядение, что государство есть вло, что единственное, что оно можеть савлать, это нерестать мёшать людямь, ирекратить свою двятельность, свои предписанія и запреты. Всякія стісненія человіческой инипіативы со стороны государства еге возмущали; но особенно тъ, которыя бы оказались нокушеніемъ на то, что для него было Божьимъ дёломъ, на свободу мысли, совъсти, слова. Государственный строй, который ввели большевики, который казнить за убъжденія, за пропаганду, за слово, который требуеть разръшенія для передвиженія, для выбора рода труда или мъстожительства, строй, который порабощаеть человъка своими запретами и приказами, своимъ вмѣшательствомь во всв стороны человьческой жизни, такой строй не нашель бы въ его глазахъ никакихъ оправданій... Мы, люди міра, тоже имфемъ право осуждать большевизмъ; у насъ съ нимъ свои счеты, хотя мы и говоримъ съ нимъ на одномъ языкь. Мы обвиняемъ большевиковъ за то. что. врикрываясь идеей общаго блага, они ведуть къ раззоренію страны и нь рабству и гибели личмости; что дорогую для насъ идею народовластія они компрометтировали своимъ личнымъ господствомъ, и тымъ готовять въ Россіи реставрацію деспотизма. Мы ихъ осуждаемъ за то, что ихъ пріемы управленія заставляють теперь жальть о тыхъ непорядкахъ, съ которыми мы когда-то боролись, что они оправдывають въ будущемъ всякій былый терроръ; за то, что они дискредитировали идею и соціализма, и народоправства, и революціи, что они идейно подготовляють худшіе виды реакціи. Мы могли бы противъ нихъ сказать еще очень многое; Тохстой не правъ, когда между нами и ими усматриваеть что-то общее; но можемъ ли мы въ свою очередь сомнываться, зная, что такое Толстой, что между имъ и большевиками ныть ни мальйшаго сходства?

И туть я подхожу къ вепросу, съ которато началь. Если это такъ, то откуда же все недсразумъніе? Почему ученики Толстого клонять головы передъ большевизмомъ? Почему большевики преклоняются передъ памятью того, кто быль ихъ непримиримымъ противникомъ? Это интересный вопросъ, и да будеть мнъ позволено коснуться его въ заключеніе.

Я не хочу искать мелкихъ и случайныхъ причинъ этого факта, говорить, что толстовцы либо вапуганы, либо подкуплены. Если бы это было т върно, такое объяснение не было бы ни характер-

нымъ, ни поучительнымъ. Да какъ общее объясненіе оно не годится; среди толстовцевь есть люди, которые себя не продадуть. Я могь бы сказать, что они Толстого не понимають; это было бы, конечно, справедливо, но такое объяснение одно повазалось бы съ моей стороны претенціознымъ, а кромъ того не интереснымъ. Что же изъ того, если кто-либо не понимаеть другого? При этомъ отношение толстовцевъ къ большевизму настолько обще,что не можеть быть признано случайнымъ: потому то оно и представляеть больтой интересъ; почему же именно они, почти поголовно, не понимають того, кого считають учителемь? Почему я, человъкъ другой въры, понимаю его лучше, чъмъ они? Интересъ этого факта лежить въ парадоксв: Толстого можно понять. но невозможно принять: если вто-либо говорить, что онъ его ученіе принимаеть, что онъ его последователь и единомышленникъ, это верный признакъ того, что онъ его не понимает в или понимаеть ошибочно. Понять Толстого возможно, хотя не легко; для этого надо только винмательно прочесть его сочиненія, выловить изъ нихъ то основное, отъ чего опъ не отступалъ, освободить главную мысль оть наноснаго оть полемическихъ отступленій и противорвчій. Стоить постараться понять его каковь онь есть, не торонясь съ

легкой критикой и возраженіями. Эта задача не очень легка не только потому, что ученіе Толстого настолько далеко оть нашихъ понятій, что иногла трудно повърить, чтобы то, что онъ говорить, было серьезно, не было преувеличениемъ, капризомъ ума; она трудна потому, что Толстой плохой діалектикъ и логикъ; у него не систематическій умъ, какъ онъ ни старался иногда излагать свое ученіе по параграфамь; но если посль такой работы добраться до того, что есть сущность ученія Толстого, оно становится последовательнымъ и логичнымъ, все вытекаетъ изь накоторыхь основныхь положеній, доведенныхъ до ихъ логическихъ выводовъ. Тогда это vченіе перестаеть казаться безсмысленнымъ. нежизненнымъ, какимъ-то вызовомъ зправому смыслу. Какъ бы мы,люди міра,ни стояли далеко оть его ученія, мы можемъ его понять, преклониться передъ нравственной его высотой, определить его место среди другихъ ученій, можемъ оценить какъ мелки те обычныя мірскія возраженія, которыми стараются его опровергнуть. Но отсюда цёлая пропасть до того, чтобы принять это ученіе, съ нимъ согласиться. Тотъ, кто хочетъ принять это ученіе, долженъ принять и его исходную точку, смотреть его глазами на міръ, на смыслъ жизни и ея основную проблему. Это да-

но не всвиъ: не даромъ учение Толстого — ученіе не оть міра сего. Недаромъ онъ самъ говориль въ началъ своего главнаго сочиненія: «Въ чемъ моя въра»: «Жизнь моя вдругь перемьнилась; мнъ перестало хотъться того, чего прежде хотвлось, и стало хотвться, чего прежде не хотвлось; то, что прежде казалось мий хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурие, иоказалось хорошо... Направленіе моей жизни желанія мои стали другія. Добро и зло перемвнились мъстами». Чтобы учение Толстого могло быть принято, чтобы оно не показалось безсмислицей, необходимо самому пережить подобную перемѣну, необходимо возненавидьть мірскую жизнь, учение міра. Причина такой переміны лежить не въ признаніи новаго государственнаго строя, не въ усвоеніи новой экономической доктрины или ученія о созданіи и распредівленіи матеріальныхъ благь; корень перемёны лежить въ психологій челов виа, въ постановк в имъ осповного вопроса о цели и смысле человеческой жизни. Чтобы понять ее, надо пережить то состояніе, которое пережиль онъ, и о которомь развъ своей «Исповади». Что было съ нимъ? Выло то, что Толстой, этотъ баловень судьбы и природы, надвленный въ изобили всемъ твиъ, что принято считать человеческимь сча-

стьемь: богатствомь, несокрушимымь здоровьемъ, необыкновеннымъ талантомъ, окруженный всемірной славой, съ громадными связями въ цъломъ міръ, наконецъ, счастливый въ семейной жизни, этотъ истинный олимпіецъ, предметь общей зависти, Толстой, помышляль о самоубійствъ. И не потому, чтобы съ нимъ случилась бъда, не отъ преходящаго горя, даже не отъ горя другихъ, съ которымъ бы онъ случайно столкнулся. Онъ страдаль и погибаль оть безсмыслины собственнаго счастья. Это произошло оттого, что Толстой поняль, что нъть ни одного людского счастья, которое не уничтожалось бы смертью. Своей чуткой душой въ разгаръ счастья онъ поняль основное противоржије человжческой жизни: человъкъ живетъ для себя, только для себя, весь мірь ему важень постольку, поскольку онъ служить ему. Но наступаеть неизбъжная смерть, и этоть міръ продолжаеть жить, а та ничтожная человъческая жизнь, которая казалась важные всего, вдругь исчезаеть. Это сознаніе безсмыслицы заботь о собственномь счастьй, когда завтра появится смерть, есть та самая мысль, которая проведена и въ Евангеліи: человъкъ построилъ житницу, наполнилъ ее богатствомъ, чтобы «покоиться, всть, пить, веселиться», воть то, о чемь мечтаемь мы, люди міра; но безумцы, — говорить Христост, — Богъ въ эту ночь позоветь васъ къ Себъ; къ чему же вы строили всъ эти житницы, о чемъ вы заботились, о чемъ хлонотали? Эта беземыслица счастья, которое кончастся смертью, беземыслица жизни, если она не безконечна, и привела Толстого въ то отчаяніе, при которомъ онъ сталъ думать о смерти. Вы помните ту художественную картину, восточную басню о Драконъ, которую онъ нарисоваль въ своей «Исповъди».

«Давно уже разсказана восточная басня про путника, застигнутаго въ степи разъяреннымъ звъремъ. Спасаясь отъ звъря, путникъ вскакиваеть въ безводный колоденъ, но на лив колодца видить дракона, разинувшаго пасть, чтобы И несчастный, не смея вылезть, пожрать его. чтобы не погибнуть отъ разъяреннаго звъря, не смъя и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожраннымъ дракономъ, ухватывается за вътви растущаго въ расщелинъ колодца дикаго куста и держится на немъ. Руки его ослабъвають. и онъ чувствуеть, что скоро долженъ будеть отдаться погибели, съ объихъ сторонъ ждущей его; но онъ все держится, и видить, что двъ мищи, одна черная, другая бълая, равномърно обходя стволину куста, на которомъ онъ виситъ подтачивають его. Воть-воть самь собой обрушится и оборвется кусть, и онь упадеть въ пасть дракону. Путникъ видить это и знаеть, что онъ неминуемо погибнеть; но пока онъ висить, онъ ищеть вокругъ себя и находить на листьяхъ куста капли меда, достаеть ихъ языкомъ и лижеть ихъ». («Исповёдь»).

Воть исходная точка Толстого: люди, которые живуть въ заботахъ о радостяхъ жизни, о земномъ счастъй, и были тимъ легкомысленнымъ безумцемъ, который, вися надъ пропастью, услаждается лизаніемъ меда. И какъ только Толстой это поняль, мірскія блага ему показались безсмысленными: жизнь, состоящая въ погонъ за ними, безумной; онт возненавидёль самыя блага, которыми всв другіе дорожать, изъ-за которыхъ живуть, возненавидьть ихъ потому, что они мъщають человъку видъть истинный смыслъ жизни тамъ, гдъ онъ есть, т. е. въ любви къ людямъ, въ жизни для нихъ, въ отреченіи оть есяваго эгонзма, и вследствіе этого въ победе надъ смертью. Ему показались несчастными и безумными тв, кто строять свою жизнь на стремленія получить и сохранить эти блага, безумнымъ то общество, которое заботится объ одномъ, чтобы ихъ производить, распредълять и обезпечивать оть расхищенія. Онъ возненавидёль самыя блага и поняль, что единственный разумный посту-

нокъ это ихъ бросить, удалиться отъ нихъ; это лучше, чёмъ изъ-за нихъ губить свою жизнь; ибо въдь наличие и обилие этихъ благъ не спасло Толстого отъ мысли о самсубійствв. И смотря тако на жизнь, онъ не могь не жальть тыхь, которые изъ-за этихъ благь трудятся, работаютъ. борятся между собой и другь друга ненавидять. Толстой обличаль богатыхъ, счастливыхъ и довольныхъ не потому, что завидовало имъ, что считаль, что они живуть за чужой счеть, что они взяли себъ отъ жизни лучшую часть, обдъляя ею другихъ, не потому, что они насильственно завладели темъ, что должно быть справедливо распределено между всеми, онъ сбличалъ ихъ не потому, что хотъль иного распредъленія этихь благь, хотвль бы вернуть другимь то, что они у нихъ отняли. Онъ обличаль богатыхъ и счастливыхъ потому, что они несчастны, что они идуть ложной дорогой, что наступить минута, когда ихъ глаза раскроются, и они вдругь поймуть съ той ясностью, съ которой онъ самъ поняль это на переломъ жизни, что смерть неизбъжна и близка. что смерть постепенно подходить и при вилъ этой смерти вся жизнь, посвященная заботв о пріобратеніи и сохраненіи мірскихъ благъ, покажется истинымъ безумствомъ и ослепленіемъ. Кто пережиль и не только мимолетно подобныя

настроенія, тоть можеть не только понять, но и принять Толстого. Кто можеть подобно ему изъза страха смерти возненавидеть мірскія блага, отказаться оть заботы о нихъ, отъ работы на ихъ пріобретеніе, тоть можеть принять толстовскую въру съ ея «непротивленіемъ злу», «недъланіемъ» и другими нарадоксами; для челов вка въ такомъ настроеніи покажутся мелкими и пустыми споры капиталистовъ съ соціалистами о распредъленіи труда и прибыли: и тв и другіе заботятся о томъ, что совершенно не важно, и забывають о томъ, что безспорно и нужно — о предстоящей собственной смерти. Но многіе за внёшностью не видять сути вещей, сходятся съ Толстымъ только въ его обличеніяхъ, въ его нападкахъ на бо*гатых* в энатных, въ его критикв, и думають, что они согласны съ самимъ ученіемъ. Толстой обличаеть богатаго жалья его, считаеть нищаго и пролетарія болье счастливымь, чьмь богатаго; а тъ, кто нападають на богатаго, потому что завидують его богатству, потому что желають взять его для себя или для другихь, кто проповѣдують «грабь награбленное», тѣ мають, что это обличение сближаеть ихъ съ Толстымъ, что они думають одинаково съ нимъ. Это витшнее согласіе въ ихъ глазахъ закрываеть всю непроходимую разницу между ними. Идлю-

страція такого непониманія есть и въ Евангелін, въ разсказъ о богатомъ юношъ. Опъ спрашивалъ-Христа, что ему делать, и Христосъ прописальему банальныя ветхозавётныя запосёди внёшняго поведенія, и даже то лучшее, до чего додумался языческій народь, идею справедливости, (люби другихъ, какъ самого себя). Юноша все вто уже делаль и могь поэтому считать себя Его ученикомъ. Но Христосъ прибавилъ последнее: «Раздай богатство и следуй за Мной». Въ этомъ сущность и оригинальность Христова ученія: вто пожальеть этого богатства, кто ноколеблется это сделать, покажеть, что онь не понимаеть исжолной точки Христа, а потому за Нимъ не пойдеть. Этоть разсказь илиюстрируеть, какь тв. кто почиталь Христа, следоваль Его ваповедямъ, и думалъ, что съ Нимъ согласенъ и могь быть Его ученикомъ, тъмъ не менъе не мали самой сути Христова ученія, не понимали того, что отличало его отъ ученія міра.

Ученіе Толстого, которое онъ никогда своимъ не называль, въ которомъ онъ только старался возстановить Христово ученіе, — есть ученіе ≪не отъ міра сего». И потому надо или отвертать міръ, всѣ его понятія и привычки, или отвертать его ученіе. И то, что въ наше время провеходило съ ученіемъ Толстого, т. е. то, что имента

но последователи Толстого не понимали произошло еще раньше съ Христомъ. Я надъюсь не оскорбеть ничьихъ вфрованій, когда провожу Тогда, когда появилось ученіе эту параллель. Христа, двъ тысячи лъть тому назадъ, въ моменть религіознаго экстаза, сопровождавшаго крушеніе всего античнаго міра, нашлись люди, которые попіли за Христомъ, хотя Его понимали. Эти люди бросали свои богатства, связи, положенія, и шли съ радостью умирать на аренахъ и циркахъ. Они не только принимали, но и понимали Христа. Его понимали и враги этого ученія. Эстетики Петроніи и мудрые государствовёды Марки Авреліи одинаково чувствовали, что Христово ученіе — гибель иху цивилизаціи, иху государственныхъ задачъ, всего ихъ государственнаго пониманія, гибель Великой Римской Имперін. Одни изъ нихъ возненавидъли это ученіе, другіе просто смівлись надъ нимъ; міръ его не принималъ, и не принималъ именно потому, что его понималъ. Оно еще не было искажено авторитетными интерпретаціями. И шла борьба Христа и міра. Но прошли вѣка, и міръ, оставшись темъ, чемъ онь былъ, сохранивъ всю свою сущность, т. е. государство и его задачи и формы, т. с. законы, суды, правительства, — словомъ всю вившиюю культуру, міръ вдругь приняль Христа. Это означало одно: міръ пересталь Его-понимать. Міръ изъ всего Христова ученія усвоиль одну двухсмысленную фразу: — отдай Кесарево Кесарю, Божіе Богови, и, жонглируя этой фразой, оставиль земную жизнь Кесареви, его воль, его взглядамь, отославь Царство Христа на небеса. Міръ приняль Христа, и это значило. что міръ пересталъ Его понимать. Конечно и въ «исправленномъ» видъ христіанство осталось высокимъ ученіемъ, положило историческую грань на развитіи человъчества; но оно перестало быть чистымь ученіемь Христа, стало ученіемъ міра сего. И когда я смотрю теперь на толстовцевъ, которые увъряють серьезно, будто Толстой простиль бы большевикамь ихъ звърства, за то, что ихъ насилія ведуть къ торжеству коммунизма, къ гибели богатствъ и богатыхъ, когда я вижу толстовцевъ, которые такъ понимають его, я невольно вспоминаю великихъ и малыхъ инквизиторовъ, последователей Христова ученія, которые тоже воображали, что его понимають, когда во имя Христа жгли на кострахъ. Такое понимание общее явление; oreмірская судьба ученій, которыя не оть міра сего.

Но теперь последній вопрось: почему же большевики почитають Толстого? Пусть они тоже не почимають его; это возможно; но есть вещи, ко-

торыхъ они не могуть не видъть; не могуть не знать, что Толстой ненавидёль насиліе, проклиналъ всвхъ насильниковъ, отрицалъ все, чвиъ живуть большевики. Почему же, несмотря на это, они склопяють головы передъ своимъ гомъ и обличителемъ? Я и тутъ не хочу ограничиться простымь объясненіемь, что они пвлають это нач-за рекламы. Пусть это такъ, но почему же имъ нужна именно эта реклама, почему недостаточно Маркса и Энгельса, почему имъ понадобилось преклоняться передъ Толстымо? Отвътить на это, значить разъяснить, что такое быль Толстой для Россіи, почему онъбыль для нея тъмъ, чъмъ онъ быль, почему память о немъ не заглохла и день его смерти день національнаго траура. Не въ концѣ лекцік поднимать этоть вопрось. Иностранцы этого не поймуть, а для насъ, русскихъ, исключительное положение Толстого въ Россіи факть настолько безспорный, что его не надо доказывать, слишкомъ сложный, чтобы въ короткихъ словахъ мотивировать. Толстой быль не только гордостью Россіи, ея славой, онъ быль ея утписиісмъ; не даромъ Тургеневъ въ своемъ знаменитомъ письмъ считалъ себя счастливымъ, чт быль его современникомз; становилось на душв. когда вспоминалось, что Толстой живы

и существуеть; даже если онъ молчаль, было спокойнъе жить, зная, что онъ можеть рить. Какъ Тургеневъ, въ минуту «сомнѣпій и тигостныхъ раздумій о судьбахъ родины», утвшался сознаніемъ, что существуеть русскій явыкъ «великій, могучій, правдивый и свободный», такъ и Россія въ тяжелые дни. — они не теперь, — успокаивала только настали мыслыю, что у нея есть Толстой, что онъ мись, не легенда, что онъ живая реальность, что ожь действительно существуеть этоть старикъ, на котораго смотрить весь міръ, что онъ не покинеть Россіи, не промъняето ее ни на что. И рта любовь къ Толстому пълаго народа, въ свою очередь составляла силу Толстого и его обаяніе. Тумая о немъ, я вспоминаю слова Кирфевскаго, приведенныя Герценомъ, о чудотворной иконт: **«и** смотрълъ на эту икону и думалъ, — нъть это не простая доска съ изображеніемъ. Многіе, полгіе голы она впитывала въ себя всв жалобы, жольбы и изліянія, она насыщена ими, въ этомъ ел сила». Я не помню дословно цитаты, но таковь ея смысль. Къ Толстому тоже сторонъ Россіи и всего міра шли горести, сомивнія, недоумвнія, оть него ждали отвъта. Онъ сталь воплощениемь человеческой совести, ностваней надеждой и защитой скорбящихь, оби-

женныхъ и несчастныхъ; въ этомъ была его сила: своей общей любовью человъчество слълало изъ него эмблему того, что въ немъ самомъ было лучшаго. И это охраняло Толстого. Онъ жиль вь тв годы, которые кажутся намь теперь благополучными, но это не были годы свободы, уваженія къ человіку, политической и религіозной терпимости. Власть была сильна и требовательна, она своихъ враговъ не щадила; но его она тронуть не смёла, онъ быль подъ защитой всеобщей любви. Его отлучили отъ Церкви. И что же? Это отлучение нало на тъхъ, кто его отлучилъ. Оно ни въ чемъ не уронило его обаянія, не повлекло тёхъ послёдствій, которыя настунали для тъхъ, кого Церковь объявляла отступникомъ; а когда Толстой умиралъ, та же Церковь старалась съ нимъ помириться. Его сочиненія казались опасными. За простое ихъ храненіе подвергали суду, а его, автора ихъ, тронуть не смели. Когда судили его учениковъ его сочиненія, онъ не разъ заявляль о себъ. требоваль суда надъ собой, указываль на нелогичность, на безстыдство такого къ себв отноmeнія. — и все было тщетно. Государстве передъ нимъ пасовало. Я помню, какъ на одномъ процессв, гдв я защищаль, я подаль прокурору его собственноручное заявленіе, что онъ

-авторъ тъхъ сочиненій, за которыя судили подсудимаго. Прокуроръ отвъчалъ, что подпись Толстого не засвидътельствована нотаріусомъ и потому ее надлежить оставить безь всякихъ последствій. Конечно, смешна такая лицемерная отговорка, но не смъщенъ самый факть; — государство не смило тронуть Толстого, Толстой быль сильные правительства. И да будеть мив позволено вспомнить картину, которую я уже однажды въ Москвъ приводилъ, говоря е Толстомъ, — а именно конецъ «Князя Серебрянаго». Грозный царь Іоаннъ Васильевичъ Красной площади; идуть казни и пытки; народъ видить, страдаеть, но молчить, не сметь поднять голоса противъ царя. Но вотъ приходить Василій Блаженный, тоть самый юродивый, котораго тоже возвела на рангъ святого народная любовь и въра. Онъ начинаетъ обличать Іоанна, не слушаеть его приказанія молчать; онъ грозить ему, осуждаеть его. Иванъ Васильевичь не вытеривль, замахнулся жезломъ на блаженнаго, хотълъ заглушить его голосъ. Но народъ, который покорно молчалъ, пока терзали и мучили его самого, не позволилъ этого покушенія на блаженнаго; онъ загудёль: «не смвй: въ животахъ нашихъ ты воленъ, а его не тронь». Народная любовь защитила бла-

женнаго; царь Иванъ не решился поднять руку на того, въ комъ заключались надежды, упованія и радость народа. Тѣмъ же быль Толстой въ наше время для насъ. И что было бы, если бы онъ быль живъ въ настоящее время? У насъ быль бы заступникь; намь бы не нужно было комитеты, которые совокупностью создавать своихъ членовъ должны были бы пріобръсти авторитеть, чтобы напоминать міру, что Россія жива. Покуда онъ, Толстой, былъ живъ, покуда оно стояль за Россію, къ ней не посмели бы отнестись съ тъмъ высокомърнымъ презръніемъ, которое мы встрвчаемъ теперь. Мы бы чувствовали нашу силу, мы бы не сознавали себя одинокими. А что сдёлали бы съ нимъ большевики? Рѣшились-ли бы они его тронуть? О, безъ сомнвнія нвть. Они бы окружили его внвшнимь почетомъ, поднесли бы ему степень «почетнаго пролетарія», навязывали бы ему усиленныя хлвбныя карточки; постарались бы на немъ показать свою тернимость, культурность и народолюбіе; но они бы также мало подкупили его почетомъ и лестью, какъ могли бы запугать угрозой и смертью. Они не смогли бы его и обмануть и прельстить, какъ прельстили его недальновидныхъ друзей. Они бы никуда не ушли еть его обличеній, не могли бы заглушить

голоса, который гремёль бы на всю Россію и па весь міръ, громиль бы безъ устали, не позволяя Европё заблуждаться относительно роли большевиковъ. И теперь, когда я вижу почеть, которымь большевики окружають его память, я понимаю, что въ этомъ есть не только реклама, не только непониманіе Толстого, — въ этомъ есть доля искренности; какъ враги, которые возлагають вёнокъ на могилу погибшаго полководна-врага, они въ глубинё своей души могуть искренне почитать его память: они радуются, что смерть избавила ихъ еть такого противника.

В. Маклаковъ.



Книгоиздательство "Русская ЗЕМля".

Вышли изъ печати:

"ДАРЪ ЗЕМЛЪ", сборникъ новыхъ стихотвореній К. Д. Бальмонта. Цъна: 7 ор. 50 с.

"ГОСПОДИНЪ ИЗЪ САНЪ-ФРАНЦИСКО" и другіе разсказы И. А. Бунина. Цѣна: 12 фр.

"СУЛАМИ⊖Ь" и другіе разсказы А. И. Куприна. Цѣна: 12 ор.

"НАВОЖДЕНІЕ" и другіе разсказы гр. А. Н. Толстого. Цъна: 12 ор.

"НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША", повъсть И. Шмелева. Цъна: 7 ор. 50 с.

"ДЕРЕВНЯ" и "СУХОДОЛЪ" И. А. Бунина. Цъна: 12 ор.

"14 ДЕКАБРЯ", романъ Д. С. Мережковскаго. Цъна: 15 ор.

"ХРОМОЙ БАРИНЪ," романъ гр. А. Н. Толстого. Цѣна: 10 ор.

"ПУТНИКИ" и другіе разсказы Бориса Зайцева. Цѣна: 12 ор.

"НЕБЕСНЫЯ СЛОВА" и др. разсказы З. Н. Гиппіусъ. Цъна: 12 ор.

"ГАМБРИНУСЪ" и другіе разсказы А. И. Куприна. Цъна: 12 ер.

"ТОЛСТОЙ И БОЛЬШЕВИЗМЪ" В. А. Маклакова. Цъна: 2.50.

Печатаются:

- **Ж.** С. ТУРГЕНЕВЪ. «Письма къ г-жѣ Віардо». Первос полное собраніе. 2 тома.
- **м.** А. БУНИНЪ. «Чаща жизни».
- **Н.** А. ТЭФФИ. Сборникъ избранныхъ разсказовъ.
- И. А. БУНИНЪ. «Храмъ солнца».
- А. И. КУПРИНЪ. «Гранатовый браслеть».
- Гр. А. Н. ТОЛСТОЙ. «Земныя сокровища».
- **МВАНЪ** НАЖИВИНЪ. Новые разсказы.

Имъются на складъ:

- СОЛОМОНЪ РЕЙНАКЪ. «Орфей». (Всеобщая исторія религій); цъна: 12 фр.
- **ПЕТРЪ** АЛЕКСАНДРОВЪ. «Сонъ». Цѣна: 2 фр.
- СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ (ежемѣсячный журналъ), №№ 1, 2, 3 и 4; цѣна по 10 фр. каждый.

Продаются во встхъ русскихъ книжныхъ магазинахъ Европы.

По первому письменному требованію ("ROUSSKAIA ZEM-LIA", 5 ter, rue du Dôme, Paris, XVI»), книги высылаются въ провинцію и доставляются на домъ въ Парижв.